

Михаил ОДЕССКИЙ,  
Давид ФЕЛЬДМАН

## Поэтика террора

(А. Пушкин, Ф. Достоевский, Андрей Белый, Б. Савинков) \*

Посвящается Н. Я. Осовецкой

Террор — одна из магистральных идей европейской и в частности русской культуры. Сам термин бытует почти двести лет, но уже к концу прошлого века его употребление становится крайне беспорядочным.

Обычно террористическими акциями считают покушения на политических противников и захват заложников, т. е. факты явного беззакония. Равным образом террором именуют и массовые репрессии, санкционированные государственной властью, и принятие законов, предусматривающих усиление уголовной ответственности за отдельные виды преступлений, или даже упрощение судебной процедуры. Получается, что понятия, принципиально разнородные, соседствуют в рамках одного термина, чего быть не должно. Так что же есть собственно террор?

Как явление он чрезвычайно многообразен, однако причина терминологических противоречий иная: суть идеи террора кажется очевидной, но очевидность обманчива. Вот почему идея давно воспринимается вне исторического контекста, вне средств ее выражения, т. е. *поэтики* террора.

Классический пример такого внеисторического осмысления — укоренившаяся в общественном сознании уверенность, что терроризм в различных формах существует чуть ли не двадцать пять веков: от античных тираноубийц до боевиков «Народной воли» или, допустим, «Красных бригад». Русским писателям была свойственна куда большая проникательность. Знакомые с поэтикой террора, источниками и этапами развития идеи, они понимали, что терроризм, в сущности, отрицается традицией тираноборчества.

### Источники и символика тираноборчества

Традиция эта формировалась в эпоху ожесточенных столкновений папского Рима с королевскими династиями Европы. Представители светской

---

\* По материалам книги «Modus vivendi. Очерки истории советского менталитета».

---

Одесский М. П. — кандидат филологических наук, специалист в области русской литературы XVIII века. Фельдман Д. М. — филолог, специалист в области русской литературы XX века.

власти посягали на прерогативы церкви, и в ответ такие авторитеты католичества, как Фома Аквинский и Иоанн Солсберийский в XII—XIII вв. обосновали правомерность убийства монархов. Без богословского обоснования было не обойтись: по господствовавшей концепции, покушение на жизнь миропомазанника — еще более тяжкое преступление, чем отцеубийство, поскольку монарх и члены его семьи признавались сакральными фигурами. Однако тирана, каковым считали узурпатора законной власти или, что чаще — вероотступника, церковь могла и лишать сакрального статуса, т. е. своей защиты.

Доводы Фома Аквинский и Иоанн Солсберийский черпали преимущественно в сочинениях Платона, Аристотеля, Цицерона. Соответственно, традиция монархомахии, сложившаяся как результат глобального процесса усвоения феодальной Европой классической культуры и, в частности, римского права, была ориентирована на пример образцовых героев-тираноборцев античности: Гармония и Аристокитона, Брута и Кассия.

К XVI в. идея монархомахии становится необычайно актуальной: это своего рода реакция на укрепление европейского абсолютизма. Представители различных конфессий и политических течений — иезуиты Ж. Буше и Хуан де Мариана, пресвитерианин Дж. Нокс, известный публицист-гугенот, демонстративно избравший псевдоним «Юний Брут» (вероятно, Дюплесси-Морней, соратник Генриха IV), и многие другие соглашались, что убийство тирана не есть преступление. Следовательно, казнящий нарушителя законов божественных, человеческих и естественных — отнюдь не убийца, а страж законности, защитник справедливости.

Юридический характер акта подчеркивался использованием вполне определенной системы знаков: тирана надлежало по античному образцу поразить ударом кинжала, и убийца обязан был оставаться на месте покушения. Именно так были «казнены» противники воинствующего католицизма—Вильгельм Оранский (1584), Генрих III (1589) и Генрих IV (1610). Особенно показательна «казнь» Генриха IV: по свидетельству историков, его убийца — школьный учитель Равальяк, прежде чем заколоть короля, увлеченно штудировал трактаты Буше, де Марианы, Григория Валенского. Практика явно шла вслед за теорией...

В XVII—XVIII вв. идею тираноборчества развивали левеллер Э. Сексби и знаменитый драматург В. Альфиери, оказавший сильнейшее влияние на легендарного заговорщика Дж. Мадзини. Античная схема отчетливо просматривается и в убийстве фаворита Карла I —герцога Букингема (1628). Покушавшийся считал себя спасителем отечества, причем не без оснований: парламент, вступивший в упорное противоборство с тронном, объявил враждебной народу политику, проводимую королевским фаворитом. Убивая герцога, тираноборец верил, что исполняет законный приговор. Букингом, предупрежденный о возможном покушении, отшутился: хотя древние авторы почитаются, как никогда, сказал он, римлян уже не осталось. Герцог знал «кинжальную» схему и полагал классические образцы недоступными для своих соотечественников, но — ошибся...

В русской литературной традиции идея тираноборчества наиболее отчетливо выражена в пушкинском стихотворении «Кинжал» (1821). Не случайно эти стихи сопутствовали тексту присяги декабристов «Общества соединенных славян», клятвой на образе подтвердивших свою готовность к цареубийству.

«Кинжал» куда более радикален, чем, например, хрестоматийная «Вольность» (1817), где поэт всего лишь предупреждал, что нарушение монархами *contract social*, общественного договора, пагубно в равной мере для обеих сторон — власти и общества:

Владыки! вам венец и трон  
Дает закон — а не природа;  
Стоите выше вы народа, Но  
вечный выше вас закон. И горе,  
горе племенам, Где дремлет он  
неосторожно, Где иль народу  
иль царям Змоном властвовать  
возможно!

Три года спустя Пушкин уже требовал казни властителей, тиранически попирающих законы и традиции. Аналитическое рассмотрение проблемы заменилось прямой угрозой.

Соблазнительно объяснить замену эволюцией мировоззрения поэта, революционностью. Однако все гораздо сложнее. Поэт не развивал схему, данную в оде «Вольность», он выбрал другую, более соответствовавшую его настроениям и убеждениям. Потому оригинальны в «Кинжале» только поэтический темперамент и лапидарность формулировок, аргументация же и подбор исторических примеров — целиком в русле традиции тираноборчества, предусматривавшей также, что тираном может быть признан не только монарх, но и любой представитель государственной власти, посягающий на закон и справедливость.

То, что Пушкин традицию воспринял, подтверждается и его рассказом (в Table talk) о лицейском преподавателе французской словесности Д. Будри, родном брате «пламенного якобинца» Ж. П. Марата. Профессор, вспоминая Пушкин, «как ни в чем не бывало» назвал «вторым Равальяком» Шарлотту Корде, заколовшую Марата. И хотя жертвой Равальяка был монарх, а жертвой Корде — «Друг народа», ненавидевший монархию, Будри не считал свое высказывание парадоксом. Марата, как и других вождей французской революции, мысливших себя монархологами и декларировавших право каждого человека на тираноубийство (крылатое выражение Сен-Жюста), многие соотечественники видели именно узурпаторами, тиранами. Как известно, Корде задумала покушение не потому, что была аристократкой, а Марат — революционером. Напротив, Марата она считала противником демократии, врагом законности. И вот в соответствии с кодексом тираноборчества орудием казни стал кинжал, а убийца не пыталась скрыться с места преступления. Осмысляя свою миссию в античном духе, Корде именовала себя Геркулесом — истребителем чудовищ, и депутат Майнца А. Люкс поплатился головой за то, что сказал при ее казни: «Смотрите, она величием превосходит Брута».

Таким образом, аксиоматику монархологии Пушкин усвоил еще в лицее, правда, лишь в общекультурном контексте — как урок истории. Волна же политических убийств, примета эпохи конгрессов Священного союза — борьбы европейских монархов с национальными и освободительными движениями, вновь актуализовала традицию. Непосредственным поводом к написанию «Кинжала» послужило убийство в 1819 г. немецкого писателя Августа Коцебу студентом-теологом Карлом Зандом. Был тут и незамеченный современниками элемент трагикомизма: в роли грозного тирана оказался пожилой и вполне смирный литератор, выступления которого в германской печати считались доносами шпиона Священного союза. Каким образом Коцебу мог быть шпионом аж трех монархов — понять нелегко, но сгоряча никто и не пытался, а уж Занд — тем более. Да и вообще, автор статьи, особо возмущившей Занда, вовсе не Коцебу, а русский публицист консервативного толка А. Стурдза. Зато само покушение выглядело образцово: торжественно сообщив писателю о причинах казни, студент поразил его кинжалом и тут же попытался заколоться. Попытка не удалась. Убийца предстал перед судом, был приговорен к смерти и обезглавлен. Либеральная Европа «канонизировала» его — несурзности компенсировались муже-

ством осужденного, соответствием его поведения мифу и традиции. М. Бакунин, к примеру, считая действия Занда «чрезвычайно нелепыми», поскольку они «не могли принести решительно никакой пользы», полагал, что «по крайней мере в них проявилась искренность страсти, героизм самопожертвования и то единство мысли, слова и дела, без которых революционизм неминуемо впадает в риторику и становится отвратительной ложью».

Символика «Кинжала» была общеизвестна. В X главе «Евгения Онегина», где описываются собрания декабристов и упомянуты несостоявшиеся цареубийцы М. Лунин и И. Якушкин, сказано:

Друг Марса, Вакха и  
Венеры, Тут Лунин дерзко  
предлагал Свои  
решительные меры И  
вдохновенно бормотал.  
Читал свои нозли Пушкин,  
Меланхолический  
Якушкин, Казалось, молча  
обнажал  
Цареубийственный кинжал.

Да, если «кинжал», то непременно «цареубийственный»... Кстати, знаменитый Лунин был увлечен идеей тираноборчества еще в годы наполеоновских войн. По воспоминаниям Н. Муравьева, Лунин подготовил письмо главнокомандующему, «в котором, изъявляя желание принести себя в жертву отечеству, просил, чтобы его послали парламентаром к Наполеону с тем, чтобы, подавая бумагу императору французов, всадить ему в бок кинжал. Он,— пишет мемуарист,— даже показывал мне этот кривой кинжал, который у него на этот предмет хранился под изголовьем. Лунин бы точно сделал это, если бы его послали...»<sup>1</sup>. Неосуществленный план Лунина, как и осуществленный план Занда, тоже грешит несообразностью: удар кинжала, наносимый парламентаром,— типичное вероломство. Однако Наполеон — узурпатор (как его и называли тогда противники), потому кинжал и самопожертвование Лунина — уместны. Противореча одному кодексу — воинской чести, будущий декабрист действовал в полном согласии с другим.

«Кинжал» — манифест монархомахии. Помимо заглавия, античный колорит, отличающий традицию тираноборчества, задается с первых строк:

Лемносский бог тебя сковал Для  
рук бессмертной Немезиды...

Определен и правовой пафос тиранубийства — законное наказание злодея в условиях беззакония:

Где Зевса гром молчит. Где  
дремлет меч Закона, Свершитель  
ты проклятий и надежд, Ты  
кроешься под сенью трона, Под  
блеском праздничных одежд. Как  
адский луч, как молния богов,  
Немое лезвие злодею в очи  
блещет...

И, конечно же, основной тезис иллюстрируется привычным рядом: Брут, Корде, Занд. Каждое имя — символ...

<sup>1</sup> «Русский архив», 1885, № 10, с. 227.

## Ошибки и заимствования

Стихи, однозначно воспринимаемые современниками, трактовались позже принципиально иначе. Так, в юбилейном пушкинском 1937 г. парижские «Современные записки» поместили статью Г. Федотова, где автор — историк и публицист, — анализируя творчество Пушкина как «певца империи и свободы», писал: «Кинжал» прекрасен... Правда, он воспекает кинжал, т. е. террор, т. е. убийство. Но здесь слабый убивает сильного, свободная личность восстает против тирана. Принимая войну и рыцарский поединок, Пушкин не мог возражать против тираноубийства. Но посмотрите, как нелюбезно наносит он свои удары. Его герои — Брут, Шарлотта Корде, Георг (так!) Занд. Убийца императора поставлен рядом с убийцей революционного тирана»<sup>2</sup>.

Боровшийся с большевизмом интеллигент считает парадоксальным сочетание в одном контексте имен республиканца Брута и «контрреволюционерки» Корде. Но для Пушкина существенно было только то, что жертвы римлянина и француженки — узурпаторы. Значит, сопоставление Брута и Корде столь же правомерно, сколь сопоставление Корде и Занда или Корде и Равальяка. Все они — тираноборцы.

Игнорируя историческую конкретику, Федотов романтически осмысляет тираноубийство как бой слабого с сильным («слабый» Занд против «сильного» Коцебу?) или как «рыцарский поединок», дуэль. И тут историк невольно подменяет одну традицию другой. Впрочем, у Федотова были авторитетные предшественники. Декабристы, например, восхищались Брутом и Кассием, но претило дворянам убийство безоружного, пусть даже тирана, да и перспектива взойти на эшафот в качестве вульгарного убийцы, орудовавшего ножом (а ну как не все поймут символику!), — не вдохновляла. Спасительной показалась идея превратить тираноубийство в своеобразную дуэль. В частности, И. Якушкин решил заменить непременный кинжал парой пистолетов: первый предназначался императору, второй — самому царевубийце. «В этом варианте, — писал Якушкин, — я видел не убийство, а только поединок на смерть обоих»<sup>3</sup>. Аналогично народоволец С. Степняк-Кравчинский (кстати, отставной офицер), планировавший покушение на шефа жандармов Н. Мезенцева, собирался явиться к тому с парой пистолетов, парой шпаг и парой эспадронов, дабы противник сам выбрал оружие для дуэли. Но как раз в «Кинжале», где Пушкин апеллирует к античным образцам, нет и намека на дуэль. Потому что тираноубийца в отличие от дуэлянта не отстаивает *свою* честь, а вершит правосудие и уцелеть никак не может. Восстанавливая законность, монархوماх понимает, что формально преступает закон, поскольку общество не уполномочило его быть ни судьей, ни палачом, и он сознательно обрекает себя на гибель (самоубийство или эшафот), дабы еще раз утвердить главный принцип: наказуемо всякое нарушение закона, независимо от того, кто и зачем его нарушил.

Неверно и отождествление «кинжала» с «террором», по мнению Федотова, присущее Пушкину. Для Пушкина и его современников «террор» как понятие и термин ассоциировался не с тираноубийством, а с государственной политикой якобинцев, отвергавшей, отрицавшей законность в принципе. Суть этой политики наиболее адекватно сформулировал М. Робеспьер, выступая в Конвенте 5 февраля 1794 г.: «Если в мирное время орудием народного правления является добродетель, то во время революции оружием его является и добродетель, и террор одновременно (*terreur* — букв, ужас,

<sup>2</sup> Федотов Г. П. Певец империи и свободы. «Пушкин в русской философской критике. Конец XIX — первая половина XX в.». М., 1990, с. 369.

<sup>3</sup> Записки И. Д. Якушкина. М., 1926, с. 82.

устрашение): добродетель, без которой террор гибелен, террор, без которого добродетель бессильна. Террор есть не что иное, как быстрая, строгая, непреклонная справедливость: следовательно, он является проявлением добродетели, он — не столько особый принцип, сколько вывод из общего принципа демократии, применяемого отечеством в крайней нужде»<sup>4</sup>.

Особого внимания в данном случае заслуживают указания на «быструю, строгую, непреклонную справедливость» и «крайнюю нужду», в которой оказывается революционное отечество — где уж тут законы соблюдать! Ведь законность предполагает обязательное соответствие наказания преступлению, совершенному конкретным правонарушителем: «нет преступления — нет наказания», что постулировалось и в римском праве. Объектом же террора является не индивидуум, но социум в целом. Это политика превентивного устрашения. Вот почему якобинцы казнили без вины: «аристократов». — за принадлежность к неблагонадежному сословию, прочих граждан — как «подозрительных». Убивали *не за что-то, а для достижения определенной цели*. Правительство устрашало общество, чтобы добиться безоговорочного повиновения. Тираноубийца же не стремился к власти, но служил закону бескорыстно.

Слагая гимн кинжалу, т. е. тираноборцам-стражам законности, поэт не мог воспевать террор, как полагает Федотов, хотя бы потому, что террористы-якобинцы были для него вершителями беззакония. Герой, воспетый Пушкиным,— Шарлотта Корде, сразившая идеолога террора. Но и ошибка Федотова показательна. К 30-м годам XIX в. существовала уже своеобразная революционная мифология: идеальными «борцами за народное дело» были признаны «Неподкупный» — Робеспьер и «Друг народа» — Марат, якобинское наследие канонизировано, а террор, соответственно, оправдывался «высшей целесообразностью». Примерно тогда же сформировались «партии нового типа» — жестко-централизованные, основанные на неукоснительном подчинении низовых организаций руководству. Структурное сходство этих партий определялось сходством целей: подготовкой в условиях конспирации вооруженного восстания, каковое должно было решить задачи социальные (Ф. Буонарроти, О. Бланки, Т. Шустер) или национально-освободительные (Дж. Мадзини). Ну а там, где готовится вооруженное восстание, уместны и политические убийства, отличие которых от якобинского террора непринципиально: якобинцы устрашали социум ради удержания власти, а их последователи устрашали «правительства угнетателей» ради ее захвата. Революционеры сумели удачно использовать авторитет легендарных тираноборцев, объявив их своими предшественниками. Тираноборчество настойчиво пропагандировалось в качестве ранней стадии террора, а террор — как продолжение традиции тираноборчества.

Примечательно, что революционеры нового поколения, полагаясь на мятеж, все же не считали политическое убийство основным средством борьбы. Но организационные принципы, выработанные ими, стали фундаментом созданных позже собственно террористических партий. В рамках каждой неизбежно происходило разделение на практиков и теоретиков, исполнителей и вдохновителей. Первым надлежало приносить себя в жертву, вторым — сохранять себя, чтобы, придя к власти и реализовав политическую программу, осчастливить народ. Какова цель — таковы и средства: то, что террористам казалось правомерным, например уцелеть, послав на смерть товарища, монархомахи считали подлостью.

С этой точки зрения весьма интересна брошюра «Террористическая борьба», которую в 1880 г. издал в Лондоне известный народоволец Н. Мо-

<sup>4</sup>Робеспьер М. Революционная законность и правосудие. Статьи и речи. М., 1959, с. 210.

розов. Перефразируя строки пушкинского «Кинжала», он сравнивает тираноборцев былых времен со своими соратниками: «Совсем не то современная террористическая борьба. Здесь правосудие совершается, но исполнители его могут остаться и живы... Цари и деспоты, угнетающие народ, уже не могут жить покойно в своих раззолоченных палатах. Среди грома музыки, среди восторженных криков бесчисленной толпы, за десертом изысканного обеда им кажется: вот-вот — земля обрушится под их ногами, и невидимый мститель оглушительным взрывом динамита даст знак врагам свободы, что их час пробил...»<sup>5</sup> (ср. в «Кинжале»: «И, озираясь, он трепещет//Среди своих пиров»). Но чем откровенней аллюзия, тем очевидней различия...

#### Террор и «бесовщина»

В 70-е годы XIX в. русский терроризм сложился уже как общественное явление — со своей идеологией, теоретиками и мучениками, удачами и скандальными провалами. В немалой степени тому способствовала деятельность М. Бакунина и С. Нечаева. В 1869—1870 гг. престарелый революционер-эмигрант оказал моральную и материальную поддержку молодому, выдававшему себя за полномочного представителя могущественной подпольной организации России. Как эмиссар российского подполья Нечаев был введен Бакуниным в круги женеvской эмиграции и получил доступ к денежным фондам. Результатом совместной работы патриарха анархизма и лжеэмиссара стали получившие широкое распространение «Катехизис революционера» и прокламации «Народной расправы». Об их непреходящей актуальности свидетельствует, к примеру, признание Э. Кливера, идеолога знаменитой экстремистской группы «Черные пантеры», который, по его собственным словам, буквально влюбился в «Катехизис»<sup>6</sup>. Именно события, связанные с деятельностью Нечаева, легли в основу сюжета романа Ф. Достоевского «Бесы».

Как известно, в 1869 г. Нечаев возвращается в Россию. Ссылаясь на знакомство с лидерами европейского революционного движения, он широко распространяет созданную им легенду о некоей всемирной конспиративной партии и представляется одним из ее руководителей. Нечаев действительно планировал организовать сеть революционных молодежных кружков, которым позднее надлежало стать его партией. Однако события получили иной оборот. По наущению лжеэмиссара был убит один из членов кружка — студент И. Иванов, собравшийся выйти из организации. Причина расправы — подозрение в шпионаже. Убийство раскрыли. Нечаев снова бежал за границу, соучастники оказались на скамье подсудимых, а судебное разбирательство дела нечаевцев стало первым в России гласным политическим процессом. Общественность была поражена не столько жестокостью, сколько аморальностью Нечаева: его не интересовало, осведомитель Иванов или же нет, убийством ослушника лжеэмиссара хотел запугать остальных кружковцев, подчинить их своей воле.

В 1871—1872 гг. в «Русском вестнике» М. Каткова публикуется роман «Бесы», почти документально воспроизводящий обстоятельства убийства. Подробности, относящиеся к революционной теории и практике, автор заимствовал из материалов прессы. Однако Достоевского занимали не только революционеры как таковые. Писатель доказывал, что идеи западничества, безответственно (без учета последствий) пропагандируемые либералами 40-х годов, неизбежно вульгаризируются авантюристами или даже откровенными мошенниками и становятся страшным, губительным оружием.

<sup>5</sup> Морозов Н. А. Террористическая борьба. Лондон, 1880, с. 9.

<sup>6</sup> А v g i c h P. Bakunin and Nechaev. London, 1974, p. 29.

В соответствии с замыслом романа Достоевский выявил те нехитрые приемы, посредством которых группа заговорщиков получает возможность запугать и подчинить себе даже достаточно устойчивый социум. Сущность террора была угадана безошибочно. Литературоведы почти единодушно пришли к выводу, что Достоевский в «Бесах» как бы реализует все пункты «Катехизиса».

Прежде всего Петр Верховенский и другие «бесы» дестабилизируют обстановку в городе, дабы страхом и тотальной истерией подавить горожан, лишить их способности к сопротивлению. Злоупотребляя доверием не вполне психически здорового губернатора Лембке и его жены, а также играя на тщеславии популярного писателя Кармазинова, «бесы» плетут интриги, распространяют слухи и сплетни, будоражащие население. Не обходится и без богохульств, скандалов, даже поджогов, совершаемых по наущению революционеров уголовниками. Все это — элементы единого плана, который в пересказе косноязычного «беса» — теоретика Шигалева — выглядит примерно так: Россия покрыта «бесконечной сетью узлов. Со своей стороны, каждая из действующих кучек, делая прозелитов и распространяясь боковыми отделениями в бесконечность, имеет в задаче систематической обличительной пропагандой непрерывно ронять значение местной власти, произвести в селениях недоумение, зародить цинизм и скандалы, полное безверие во что бы то ни было, жажду лучшего и, наконец, действуя пожарами как средством народным по преимуществу, ввергнуть страну в предписанный момент, если надо, даже в отчаяние».

Тем же приемом — запугиванием (т. е. угрозой разоблачения) — Петр Верховенский вынуждает сообщников убить одного из бывших кружковцев. «Вместо того чтобы представить факт в приличном свете, чем-нибудь римско-гражданским или вроде того, он только выставил грубый страх и угрозу собственной шкуре...». Здесь Достоевский не только описывает основной метод террористов, но и противопоставляет его классическому тираноборчеству («римско-гражданскому!»).

Зрелость терроризма как общественного явления выразилась и в создании новой знаковой системы. Если символами тираноубийства были античный кинжал и одиночка-монархомах, то символами террора стали бомба и партия. Динамит, уничтожающий все и всех, без различия правых и виноватых, идеально подходил для устрашения и предоставлял убийцам возможность скрыться. Легендарным оружием террора динамит сделала знаменитая «эпидемия» взрывов во Франции (1892—1894 гг.). Началась она после осуждения анархистов-участников первомайской демонстрации 1891 года. По решению партии анархистов бывший грабитель и убийца Равашоль начал преследование «судий неправедных» и подтвердил свою репутацию человека дела, взорвав в 1892 г. дома нескольких чиновников. На суде этот «рыцарь динамита» и «мушкетер анархии» (как его именовала пресса) заявил: «Я хотел заниматься террором, чтобы привлечь к нам внимание и чтобы стало понятно, кто мы такие: истинные защитники притесняемых»<sup>7</sup>.

Отметим, что "истинный защитник притесняемых" был казнен не за политические, а за уголовные преступления (ограбление и убийство монаха-отшельника, ограбление могил и т. п.), которых с избытком «хватило на гильотину». Но его «динамитный опыт» был воспринят с энтузиазмом: вслед за Равашолем взрывы в казарме и ресторане устраивает Монье, затем Вайан — в палате депутатов, затем Анри — в кафе. Этот «Сен-Жюст анархии», как его называли журналисты, объяснял на суде, что если буржуазия наказывает анархистов как представителей партии, то и анархисты

<sup>7</sup>Varenes H. De Ravachol a Caserio. Paris, s. a., p. 18.

вправе отвечать тем же, не щадя обывателей — завсегдаев кафе как представителей буржуазии.

Взрывчатка стала основным оружием и для русских террористов. Правда, идеологи народовольцев постоянно заявляли, что убийство в качестве средства политической борьбы уместно только в условиях деспотического режима, но является преступлением в демократических государствах, где главенствует закон. С этих позиций Исполнительный комитет «Народной воли» демонстративно осудил в 1881 г. убийство американского президента А. Гарфилда. Трудно сказать, насколько искренним было осуждение: возможно, что и тут народовольцы пытались замаскировать аморализм террора ссылкой на традицию монархомахи. Попытки такого рода предпринимались не только на уровне деклараций. Например, Степняк-Кравчинский, намеревавшийся «оформить» покушение на шефа жандармов как дуэль, осознал техническую неисполнимость замысла и по античному образцу заколот Мезенцева кинжалом. Однако убийца не остался на месте покушения, как сделал бы истинный тираноборец, а скрылся. И не из трусости, но потому, что полагал это самопожертвование бесполезным для дела революции. Действуя в поэтике тираноборчества, Степняк-Кравчинский оставался террористом: он лишь играл роль монархомаха и не видел нужды буквально следовать традиции.

Аналогично члены партии социалистов-революционеров (а в начале XX в слова «эсер» и «террорист» стали синонимами) настойчиво доказывали, что бомба, в отличие от пропаганды, лишь второстепенное средство достижения великой цели-революции. В действительности же первенствовала бомба о чем иногда проговаривались и сами эсеры. В частности, И Каляев убивший великого князя Сергея Александровича, сказал как-то своему Жарищу и руководителю Б. Савинкову: «Но почему именно мы, партия социалистов-революционеров, т. е. партия террора так!)-должны бросить камнем в итальянских и французских террористов?». Каляев полагал что недостойно революционера отречься от Равашоля и его последователей в угоду общественному мнению: "Террор - сила. Не нам заявлять о нашем неуважении к ней"<sup>8</sup>

В отличие от тираноборцев террористы не считали выбор того или иного оружия вопросом принципа: в 1894 г.(финал «динамитной» войны) президент Франции С.Карно заколот анархистом, а в 1911 г. анархистом же застрелен русский премьер П. Столыпин. Однако для общественного сознания символом террора оставались бомба, динамит. Не случайно в романе Андрея Белого «Петербург» (1913) оружие террористов - бомба с часовым механизмом, спрятанная в сардиннице. Кстати и основа сюжета - теракт. Престарелый сенатор Аполлон Аполлонович Аблеухов, которому предназначена «сардинница ужасного содержания», напоминает убитого эсерами министра внутренних дел. В. Плеве но казнить его собираются не за какие-либо "проступки". Причина - должность, занимаемая Аблеуховым в госцу аппарате, причем предшественник сенатора уже убит боевиками. Здесь Андрей Белый, как и Достоевский, точно описывает суть

террора сам принцип, коему следуют революционеры. Ведь и в прокламации Исполнительного комитета "Народной воли" указывалось, что Алек-сандр II - олицетворение "деспотизма лицемерного, трусливого, кровожадного и всераствляющего", хоть и «заслуживает смертной казни», будучи виновником многих народных бедствий и гибели революционеров, но передай он власть "всенародному учредительному собранию, избранному свободно", террористы его "оставили в покое", даже «простили бы ему все

<sup>8</sup> Савинков Б. В. Воспоминания террориста. Конь бледный. Конь вороной. М., 1990, с. 77.

его преступления». Таким образом, покушение на императора — не возмездие, а метод устрашения власти и социума.

Традиционен и аморализм террористов — героев романа: сына сенатора Аблеухова — Николая, сочувствующего революционному движению, просят спрятать сардинницу в доме отца, не сообщая о ее назначении. По счастливой случайности сенатор после взрыва, разворотившего дом, остается цел и невредим и даже примиряется с сыном. Но в данном случае важно не это и не сложные отношения главного героя с отцом, не комплекс нравственных проблем, возникающих при столкновении морали общечеловеческой и революционной, не изображение столичного общества накануне глобальной катастрофы, а восприятие Андреем Белым специфики террора.

В центре внимания автора — феномен так называемой провокации. Агентом полиции оказывается лидер террористов — Липпанченко, организующий теракт. Но Липпанченко — «двойник», двойной агент: товарищей он выдает, но делу террора остается верен, даже полицию обманом вынуждает работать на себя. Так, заставляя Николая Аблеухова способствовать покушению, Липпанченко использует и профессионального революционера Дудкина, и «чиновника охранного отделения» Морковкина, шантажирующего сына сенатора. Правда, Дудкин в конце концов убивает руководителя организации, узнав о его связях с полицией, т. е. возмездие настигает доносчика. В жизни, однако, все обстояло несколько иначе: прототип Липпанченко — разоблаченный предатель Е. Азеф — избежал расправы.

#### «Честный предатель»?

На Андрея Белого, как и на многих его современников, «дело Азефа» произвело колоссальное впечатление. Член ЦК партии эсеров — платный агент охранки? Это казалось невероятным. Во-первых, предательство такого масштаба трудно понять вообще. Во-вторых, если агент пробрался в «сердце террора», то полиция должна бы знать о всех покушениях заранее и, следовательно, предотвращать любое. Но ведь не предотвращала... Почему?

Либерально настроенный сотрудник «Русской мысли» А. Изгоев многозначительно указывал, что «наиболее крупные террористические акты связаны с провокацией», поскольку тайная полиция кормится «революцией» и ее материальное благополучие находится в отношении прямой пропорциональности к развитию «революционности».

Версия эта интересна в качестве образца чисто эмоциональной оценки, никак не связанной с российской действительностью. Это во Франции, например, в стране с развитой юридической традицией, революционера не могли осудить и даже арестовать лишь за умысел на теракт. Потому полиция с помощью специально внедренных в партию агентов иногда и провоцировала террористов, чтобы получить весомые улики для последующего суда. Подобные злоупотребления, безусловно, не поощрялись, но негласно оправдывались невозможностью обезвредить опасных преступников методами, предусмотренными законом. В России же сам умысел на политическое убийство был вполне достаточным основанием для задержания, а доказательства подготовки к теракту (любой стадии) — для казни. Так, в 1826 г. пятерых декабристов повесили не столько за содеянное (вооруженное восстание и пр.), сколько за то, что сделать не успели — умысел на царевубийство, от которого (как выяснило следствие) все пятеро не отказывались вплоть до ареста. А вот Якушкин, Лунин и другие отказались, в связи с чем избежали виселицы, «отделавшись» каторгой. Восемьдесят два года спустя были повешены члены группы В. Наумова, которые планировали взрыв Зимнего Дворца. Только планировали — и взрывчатку-то не внесли! Кстати, это событие легло в основу сюжета «Рассказа о семи повешенных»

Л. Андреева, горячо сочувствовавшего террористам, как и русская интеллигенция в целом. И если террористы пытались отождествить террор и тираноборчество, дабы воспользоваться чужой славой, чужим авторитетом, то «сочувственники»-либералы, помогая им, не без умысла допускали терминологическую вольность — смешение понятий «провокация» и «осведомительство». Здесь очевидно стремление «уравнять» врагов и защитников империи: те и другие попирают законность, но революционеры, по крайней мере, воодушевлены высокими идеалами.

Однако независимо от соображений нравственности российским жандармам провокация была попросту не нужна. Имея право арестовывать потенциальных убийц на любой стадии подготовки преступления и предавать их суду, жандармы нуждались только в своевременной информации, т. е. доносчиках. Провокация же противоречила самому смыслу существования русской политической полиции. Инструкция Охранного отделения гласила: «Умышленное создание обстановки преступления в видах получения вознаграждения или из мести, или по иным соображениям личного характера является тяжким преступлением».

Разоблачение Азефа получило такой резонанс, что Столыпину пришлось давать объяснения в Государственной думе. Он убеждал депутатов, что Азеф был только исправным осведомителем, а вовсе не провокатором, т. е. не подталкивал боевиков к убийству. Если Азеф не провокатор, рассуждал премьер, то ничего предосудительного в использовании его услуг нет. Через три года Столыпин будет убит очередным «двойником» — Д. Богровым, и «эксперт по провокации» А. Изгоев увидит трагедию «российского Бисмарка» в том, что премьер пал жертвой злоупотреблений, которые пытался скрыть...

Столыпин, конечно же, душой не кривил: Азеф провокатором не был, это исключается. Но был ли он добросовестным агентом, как полагал премьер? Не похоже. Азеф не только входил в ЦК партии эсеров, но еще и возглавлял Боевую организацию. Такой пост мог занять не просто удачливый пропагандист, но именно практик, имеющий достаточный опыт и значительные заслуги в области «взрывной работы». Опыта и заслуг Азефу было не занимать. К наиболее известным относятся организация удавшихся покушений на министра внутренних дел В. Плеве, московских генерал-губернаторов — великого князя Сергея Александровича и Ф. Дубасова (был тяжело ранен, после чего отошел от дел) и даже подготовка «казни» императора, избежавшего гибели отнюдь не по воле «великого практика». Карьеру свою Азеф делал, уже будучи доносчиком, однако жандармы не подозревали, что выбившийся в лидеры партии ценный агент — еще и организатор террора в масштабах империи. Значит, Азеф предавал и своих подчиненных — революционеров, и свое полицейское начальство.

Характерно, что даже после разоблачения «двойника», в его предательство не поверили ни жандармы, ни товарищи по партии. Помимо Столыпина, генерал А. Герасимов, непосредственно работавший с Азефом в последние годы, утверждал, что без помощи столь умелого осведомителя он бы никогда не смог «так успешно и так систематически расстраивать все предприятия террористов». С другой стороны, Б. Савинков, в 1908 г. зачитывая на партийном суде длинный список несомненных террористических «подвигов» главы Боевой организации, доказывал, что «в истории русского освободительного движения», да и «в освободительном движении других стран» нет «более блестящего имени, чем имя Азефа».

Герасимов не отказался от своих слов до самой смерти, а вот Савинкову все же пришлось изменить суждение о товарище и руководителе. В «Воспоминаниях террориста» (1909) он уже не сомневался в измене, но при этом все еще не желает выяснять, с чего бы Азеф — «человек большой воли», которого отличала «преданность революции», не говоря уже о «спокойном

мужестве террориста» — стал продажным, и тем не менее успешно руководил Боевой организацией. О причинах эпического безразличия автора в описании событий, буквально переломивших его жизнь, догадаться нетрудно: строжайшая *партийная* цензура. Выполняя волю ЦК, Савинков стремился «доказать, что не Азеф создал центральный террор» и предательство лидера не компрометирует ни партию, ни идею революции, ни террор как таковой.

Оправдания были и впрямь необходимы. Двойная измена Азефа напоминала о провиденной Достоевским «бесовщине» революционеров. Отношение общества к террористам ухудшалось, и чем дальше — тем больше. В 1914 г. «Русской мыслью» была опубликована пространная статья философа С. Булгакова «Русская трагедия», поводом к написанию которой стала инсценировка «Бесов» в Московском Художественном театре. Булгакова, как и Андрея Белого, интересовала проблема глубинной связи двурушничества и революционности. Вопрос этот, писал он, «можно на языке наших исторических былей перевести так: представляет ли собою Азеф-Верховенский и вообще азефщина лишь случайное явление в истории революции, болезненный нарост, которого могло и не быть, или же в этом обнаруживается коренная духовная ее болезнь?»<sup>9</sup>.

Для Савинкова-мемуариста предательство соратника было лишь досадным недоразумением, которое истинные революционеры сумели устранить. Потому и оптимистичен финал книги: «Я стал готовиться к новой террористической кампании». Однако на самом деле оптимизм и энтузиазм автор утратил. «Воспоминания террориста» — типичная «партийная литература». Как художник, а не эсеровский публицист, Савинков обратится к проблеме террора в повести «Конь бледный» (1909) и в романе «То, чего не было» (1912). Его герои по-прежнему не отрицают величия революционной идеи, но террор ломает, калечит их нравственно. Подобно автору, они ужасаются, постигнув «смысл террора, сокровенный и страшный смысл», и — гибнут. Отсюда уже недалеко до вывода: Азеф именно потому стал «великим практиком», что не ведал моральных преград. Сотрудничество с полицией, позволявшее, выдавая рядовых исполнителей, отвлекать внимание противника от основных операций и проводить «центральный террор», было для него обычным средством, оправданным «революционной целесообразностью». Он — образцовый террорист «новой формации». Но вывод этот сделал не Савинков, а Андрей Белый...

Разумеется, ни о каком «джентльменском соглашении» террористов и жандармов (о чем тогда немало писали) и речи не было. «Защитникам престола» не приходило в голову, что предатели ведут свою игру, что у продажных есть идеалы. Да и агенты, как правило, «двойниками» не были, в большинстве своем исправно работали. Но то, что Азеф и Богров — не исключение, а другое, не сразу понятое правило, подтверждается, например, историей эсера-максималиста С. Рысса. В 1906 г. он — активный революционер и одновременно осведомитель, а в 1907 г. — жандармы арестовали и повесили своего агента как террориста. Зато большевик — «азефовец» Р. Малиновский виселицы избежал. Член большевистского ЦК, глава думской фракции, он, как писал В. Ленин, «провалил десятки лучших и преданнейших товарищей, подведя их под каторгу и ускорив смерть многих из них», но в то же время помог «воспитанию десятков и десятков тысяч новых большевиков»<sup>10</sup>, т. е. был очень полезен партии. В 1914 г. о доноситестве Малиновского стало известно, и он поспешно бежал за границу,

<sup>9</sup> О Достоевском. Творчество Достоевского в русской мысли 1881 — 1931 годов. М., 1990,

<sup>10</sup> Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 28—29.

где партийный суд — под давлением Ленина и Г. Зиновьева — признал обвинения необоснованными. Вторично Малиновский был уличен после того, как Временное правительство завладело соответствующими материалами Охранного отделения. Зная о том, большевик-осведомитель все же вернулся в Россию после октябрьского переворота. Возможно, он опять рассчитывал на оправдание — ведь сколько пользы принес! Однако на этот раз Малиновского расстреляли, причем так поспешно, словно бывшие защитники опасались огласки его показаний.

В 1917 г. благодаря полицейским архивам уже не оставалось сомнений, что так называемое провокаторство — явление чуть ли не эпидемического характера, особенно среди социалистов. Отстаивая репутацию своей партии, большевистский теоретик Н. Бухарин писал: «У нас было много провокаторов. Почему? Да потому что только у большевиков были сколько-нибудь сильные нелегальные тайные организации»<sup>11</sup>. Он, конечно, лукавил, хотя и был прав отчасти: «двойники» существовали только в тех партиях, где организационным принципом была жесткая дисциплина, а нравственным — «цель оправдывает средства», т. е. в партиях террористических. Не зря шестнадцать лет спустя Бухарин, вспоминая о «периоде реакции», весьма показательно шутил: «Дело доходило до того, что люди ставили перед собой вопрос — посмотришь на себя в зеркало: черт возьми, не это ли провокатор?»<sup>12</sup>. Вполне вероятно, что многие не ошибались...

\* \* \*

Итак, от конца XVIII к началу XX в. прослеживается процесс развития теории и практики террора как политики. Суть ее — управление посредством устрашения, подавляющего социум. При этом уничтожение законности выдается за восстановление социальной справедливости, для чего теоретики террора используют элементы традиции тираноборчества — символику, фразеологию. Производится терминологическая подтасовка, дабы доказать, что тираноборчество и террор — суть одно и то же. Другая подтасовка — отождествление осведомительства и провокации. Ее цель — не компрометируя идею революции, снять парадокс, на самом деле парадоксом не являющийся: истинный террорист и доносчик в одном лице.

Тема тираноборчества и террора пронизывает русскую литературу: К. Рылеев и А. Бестужев, С. Степняк-Кравчинский, А. Чехов, Л. Андреев, А. Соболев — примеры можно было бы множить. Но именно Пушкин, Достоевский, Савинков и Андрей Белый адекватно зафиксировали атрибутику и основные этапы становления идеологии тотального устрашения.

<sup>11</sup> Возвращенная публицистика. Кн. 1 (1900-1917). М., 1991, с. 107.

<sup>12</sup> «Вопросы истории», 1988, № 5, с. 78.